
Виктор ПЕРЕГУДОВ

РАССКАЗЫ

ЛЕС

Был аллергический, но все равно сладостный полдень середины апреля, когда я открыл дверь на балкон и, опершись на холодные алюминиевые перила, стал жадно вглядываться в бледно-зеленый (но зеленее, чем он был накануне) подмосковный лес. Поляны и опушки уже освободились от снега, и на черной земле был четко виден ветвистый беловато-серый рисунок тропинок и дорожек. Графика смены времен года. Утоптаный до плотности льда снег на тропах все еще не сдавался солнцу и теплему атлантическому ветру, позавчера достигшему Центральной России. Я жадно дышал полной грудью старого курильщика.

В прежние времена Лиза, жена, обязательно крикнула бы мне: «Не простудись, Митя! Не кури там!» Но уже давно ее голос не доносится из теплых недр моей квартиры. Так давно, что и подумать страшно. Хотя это страх, конечно, условный. Развод был еще в прошлом веке, ближе к его концу. Кончился век, кончился брак. Кончился даже Советский Союз нерушимый. Прочного мало чего в этом мире. Ну, а Лиза, она теперь далеко, но все-таки, выходя на балкон, я всякий раз вспоминаю об этом ее восклицании. Оно мешает мне насладиться сигаретой, и это вызывает легкую досаду.

На расстоянии досаждаешь, Елизавета.

Тем апрельским днем я, любуясь лесом, не только не простудился, но даже не успел вдоволь надышаться, когда в комнате ожил компьютер. Меня вызывал по скайпу мой старинный, с невинных детских лет, друг Николай. Я перешел к рабочему столу и отозвался на вызов. Николай сидел у себя дома, то близоруко приближая лицо к компьютеру, то откачиваясь от него. Тогда мне становилось видно, что он никак не может сплести в замок пальцы трясущихся, в коричневых пятнах, с рельефными темными венами, рук. Мне почудилось, что я слышу потрескивание сухой пергаментной кожи. Я посмотрел на свои привычно лежащие на клавиатуре руки. Они тоже были в пятнах и перевиты сосудами, но сейчас не тряслись.

В лучшей, и долгой, поре Николая я помнил его свежим, вальяжным и едва заметно полноватым. Думаю, женщины, глядя на него, чувствовали волнующее удовольствие от его видной на глаз здоровой силы. Предполагаю, что они отмечали и лаковый блеск его прекрасно ухоженных ногтей. Драматург, по праву входящий в артистическую среду, он перенял от театральных эту подчеркнутую заботу о внешнем впечатлении.

Меня это несколько раздражало.

Виктор Перегудов родился в 1949 году в городе Лиски Воронежской области. Окончил филологический факультет Воронежского университета, работал в воронежских, а с 1980 года в центральных изданиях, издательствах, на госслужбе. Автор книг «Великие сосны», «Сад золотой», «Окна и зеркала», «День и ночь любви» и других. Живет в Москве.

За спиной Николая я видел его кабинет с вросшими в пол книжными шкафами и приветливым диваном белорусской постройки. На стене висели выцветшие от времени афиши его спектаклей.

Прежде я всегда ждал, когда на экране появится Верочка, его жена. Она легко приобнимала Николая и, как бы отрицая возраст и болезни, грациозно махала мне раскрытой ладонью. Иногда, если хорошо ложился свет, на ее пальчике вспыхивал красной винной искрой рубин. Перстень, мой тайный подарок. Одно время я был, в качестве известного писателя, при хороших деньгах. Перстень не был банально куплен, нет, я его «достал» через серьезные связи. Он стоил очень даже много, но в деньгах ли счастье. Николаю она объяснила, что перстень прислал ей некий анонимный поклонник. Вроде бы, по ее догадкам, член неофициального, но зато элитарного клуба директоров лучших магазинов Москвы. Кажется, меценат.

С актрисами это случается. Не возвращать же! Да еще неизвестно кому.

Об этом я коротко вспоминал, пока Николай, приветственно кивнув мне головой, попросил подождать и вышел из кабинета. Вернулся он примерно через пять минут и показал мне тонкую красную пластиковую папку.

— Я, Митя, приготовил эту папку для тебя. И только для тебя. Сам решишь, что с ней делать. Здесь несколько фотографий и разрозненные страницы текста. Как бы письмо тебе. Некоторые размышления. Немного воспоминаний. Еще кое-что. Про нашу жизнь, про наше творчество. Про жен, про женщин, про любовь. Про лес и море. Про Верочку, царствие ей небесное, голубке моей. В общем, как подумать, пустяки. А думать мне осталось немного. Подожди, помолчи. Не дергайся даром. Ты меня зря не раздражай.

Мы немного помолчали, и он продолжил:

— Я тебе скажу, что так ничего в жизни и не понял. Вряд ли поймешь и ты. Поэтому давай выпьем коньяка. Есть у тебя?

Он поднял на меня глаза под лохматыми седыми бровями и, скажу так, вперил в меня свой взор. Это был тревожный, мучительный, безотрывный взгляд, который трудно описать. До сих пор его помню. В этом взгляде был вопрос без надежды на ответ. И я подумал, что Николай надумал выпить, чтобы заглушить боль в укушенном онкологией теле. Хотя какое это обезбоживание. Так, ритуал.

Я взял бутылку коньяка, она у меня всегда на столе, наполнил серебряную рюмку, приподнял ее перед экраном. Николай усмехнулся:

— Так я тебя и не приучил, что коньяк добрые люди пьют из тюльпановидных сосудов. Ну, да ладно. Чокнемся, Митя.

Мы протянули, я рюмку, он бокал, к экранам наших компьютеров. Чокнулись и выпили. Он снова уставился на меня и сказал:

— Все про нее думаю. Ты Верочку не забыл? Я твою Елизавету хорошо помню.

— Верочку я не забыл, Николай, — ответил я.

В последний раз мы с Верочкой увиделись в их доме, когда узким кругом друзей обмывали, через три дня после официального банкета, ее Государственную премию. Николай, я это ясно видел, испытывал не слишком комфортное чувство то ли зависти, то ли ревности в связи с этой премией. Он-то не был лауреатом. Ему выпало всего лишь гордиться женой. Подвыпив, он даже высказался в том роде, что не в премиях счастье художника, а в его богоданном даровании.

Да, да, с тончайшей, едва уловимой иронией воскликнул тогда Костя Сумароков. Он сказал, что, являясь другом семьи и ценителем театрального искусства, именно так и соотносит премию и талант. Он действительно был другом их семьи и всей нашей

компании, но еще и отличным терапевтом, присматривающим за безалаберными творческими растратчиками здоровья.

Помню, в ту пору он по старой памяти, один на один, все еще полунасмешливо и по-мужски солидарно называл меня мобильным старым чертом. Терапевт, будто тонкий психолог, насквозь видел всех нас.

Но видел все-таки не все.

У меня, никакого теперь не мобильного, давным-давно была щедрая на ласку и любовь жена Елизавета Воскресенская. Звезда экрана и сцены. Творческая соперница талантливой Верочки. Они, впрочем, как будто даже дружили. Лиза, подстегнутая горем, вся «ушла в кино», где и прожила по-своему, наверное, счастливую, без меня, жизнь. Детей у нас не было, вот в чем дело. Два ребеночка собирались родиться, но не смогли. У Лизы, при страстном желании, не получилось их родить. Она замкнулась и возненавидела меня. Психологи с психиатрами ничем ей не помогли. Кино ее спасло. Она стала играть с какой-то очевидной безуминкой в огромных глазах, на тонком нерве, с женским отчаянием, со стервозинкой. Это нравилось режиссерам, зрителям, критикам и ведущим идиотских телешоу, где норовили довести ее до истерики и до ликующего крика ведущей «Врача в студию!».

И вызывали ведь, потому что она бешеную истерику не играла.

Лиза часто изменяла мне еще до сломавшей ее мучительной, страшной неудачи с не добравшимися до рождения детьми, но тогда эти мимолетные забавы ее красиво-го тела меня хотя и ранили, и даже пару раз ей от меня хорошо доставалось, но до развода дело не доходило. Отчасти потому, что и я не был ей верен, и не только в отместку за ее вспышки страсти в актерских вагончиках на киносъемке или в гостинице после гастрольной премьеры, а на той понятной и лестной мужчинам основе, что мы, дескать, полигамны, а женщины должны быть моногамными. И значит, джентльмену и погулять не в укор, не то что замужней леди. Да к тому же я чувствовал хотя и оскорбленное, но все же утешительное для меня моральное превосходство над порочной Лизой. Я ведь ее прощал. Привилегия прощать — из ценных в ряду привилегий.

Измены такого темперамента актрис случаются как бы на сцене, и, подозреваю, они тем подсознательно искусительнее, чем больше людей о них знают. Это как пройтись в сногшибательном платье по красной фестивальной дорожке. Или прогуляться по многолюдной аллее летнего парка, когда на тебя оглядываются, радостно тебя узнают и горячо просят о селфи с тобой. А измены писателей, к сословию которых я принадлежу, происходят как бы в темном лесу, под сенью древ, в сокровенном уединении. Да ведь и творчество наше есть дело уединенное. Не каждый из нас, как Хемингуэй, пишет в баре, попивая кубинский ром, после чего для прилива вдохновения доводит до сладкого неистовства младую мулатку.

На развод подала Елизавета. Я за нее не боролся, потому что нас ничто уже не связывало. И как ни странно, я не грустил об этом.

Я скорбел.

У меня не было, нет и не будет ни одного ребенка. Никто не продолжит мой род. Когда я умру, на земле не останется ни одного атома меня, ни одной паутинки, которая бы тянулась в живой мир из моей загробной вечности.

Сейчас мы, одинокие старик и старуха, даже не созваниваемся. Говорят, у супругов в старости срастаются биополя. Муж и жена одинаково болеют, в унисон мыслят, смотрят одни передачи. Разве что она любит сладкое, а он соленое. У нас ничего этого не случилось. Наш брак не дожил до старости.

Николаю, который смотрел на меня, когда я коротко обо всем этом задумался, повезло больше: у него была от Верочки дочь. Прекрасная Серафима. Но Верочка рано ушла из жизни.

— Ты о чем там молчишь, Митька? — спросил Николай.

Я врать не стал:

— Да вспомнил, как мы Верочкину премию у вас обмывали. Наших жен вспомнил. Как Костя Сумароков с ними танцевал по очереди. Как они ему в водевильной манере в любви объяснялись, а он не мог выбрать единственную. Как звонил знакомому генералу, чтобы тот прислал ему точный пистолет, надо срочно застрелиться. Выбрать женщину себе не может, в этом трагедия.

— Помню. Ходок он, наш веселый Сумароков. Как и все мы.

И то правда, хотя все не так просто. У меня после облегчившего душу развода и долго, пока кровь играла, были два прерывистых романа с красивыми незамужними творческими женщинами. Они не претендовали на меня как на гипотетического мужа. Терапевт Сумароков мне завидовал, потому что ему актрисы, эти очаровательные нервные создания, были недоступны, равно как и благородные сердцем, и (он так почему-то считал) физически порочные поэтессы. Я любил (а ему нравилось слушать) цитировать строфу его однофамильца старинного поэта Александра Сумарокова:

Сколько на небе звезд ясных,
Столько девок есть прекрасных.
Вить не впрямь об вас вздыхают,
Все один обман.

Мне тогда хотелось подтрунить над его якобы романтическим сластолюбием, потому что он, опираясь на романтику, был все-таки настойчивый практик, если не сказать коллекционер.

Я говорил ему, мол, Костя, ты любить не можешь. Он отвечал в том роде, что я, якобы типа известный писатель, написал рассказов и повестей примерно в сорок раз меньше, чем он реализовал романов, увлечений и внезапных вспышек страсти. Костя, убеждал я его, это тот случай, когда количество уничтожает качество.

— Ты, Митя, вижу, по-стариковски провалился в воспоминания, — сказал Николай, и я вернулся в реальность нашей беседы. — Вспомнить, правда, есть что. Поэтому давай, прозаический друг мой, повторно накатим коньячку. Только подожди минуту, я шоколадку возьму.

Трясущимися руками он распечатал плитку шоколада. Мы чокнулись и выпили.

— А ты, мой драматург, ночами сейчас спишь? — спросил я.

— По-разному бывает.

Он надолго замолчал. Тоже, как я только что, удалился в себя. Я ждал.

— Если Серафима ночует у меня, — снова заговорил Николай, — то я сплю до утра беспросыпно и без снов. А когда она остается у себя, я мало сплю. Да мне много и не надо. Да, чуть не забыл. Не показывай ничего Сумарокову из этой папки. Не хочешь. Обещай.

Я обещал. Николай сказал, что Бог троицу любит, поэтому мы выпили еще раз, но каждый из нас только пригубил — он тюльпанный бокал, а я серебряную рюмку.

Потом Николай сказал мне, что уже устал, ему надо прилечь и что он курьером пришлет мне свою рукопись, а я прочитаю ее после его смерти. И только после смерти, потом, и лучше попозже. А потом я могу ее выбросить, что, подчеркнул он, скорее все-

го и случится. В загробном мире он жалеть об этом не станет. Или сделай с ней вообще что хочешь — вот что он сказал. Без аффектации. Он говорил долго, отвлекаясь, часто замолкая, а напоследок помахал мне рукой и вышел из скайпа.

Через два часа приехал курьер с красной папкой, в которой был запечатанный конверт формата А4. Я дал курьеру сто рублей на чай и положил конверт, не заглянув в него, в нижний ящик левой тумбы письменного стола.

Торопиться было бы грех и обман. Даже, может быть, подлость, потому что мало ли что там было написано. Да еще я подумал, что если я сейчас прочитаю рукопись, то Николай раньше срока... ну, понятно.

Мы были ровесники, я осеннего, он зимнего, одного года, призыва в жизнь. Мы учились в одном классе школы-восьмилетки, единственной в нашем довольно большом поселке. Считалось, что мы друзья не разлей вода.

Он был талантливее меня. Я это всегда знал, и я ему не завидовал. Я уверил себя в этом, потому что догадался, что любой человек должен иногда запирается в невидимой умозрительной клетке, чтобы не броситься на лучшего друга с кулаками. Я мог бы броситься на Николая, и не раз. Мог, но не мог.

А он не только мог, но и бросался. Я до сих пор считаю, что дружба — это не согласный союз, а взаимозаинтересованный духовный конфликт сторон. Но тут хочу отдельно заметить, что подлинную причину нашей однажды случившейся, на людях, стычки в ресторане, когда он меня ударил по лицу, я понял гораздо позднее. А тогда все списалось на излишнее коньячное усердие Николая, а моя постепенно поблекшая обида прикрылась кратким обобщающим «Все бывает».

Бывает.

Дело не в том, что я был флегма, а он, иногда, реактивный холерик. Все это в итоговой фазе уравнивается до неразличимости.

Когда я закрыл дверь за курьером, то, еще раз подчеркну это, отложил рукопись Николая в долгий ящик. Не колеблясь. Весной я болен, как писал Пушкин. Стихи пишу, не смейтесь. Папка должна тихо лежать до назначенного рубежа, подумал я, проводив быстрокрылого курьера.

Каждый писатель сам себе редактор и даже цензор, в том числе и по жизни. У нас есть дар контроля над собой. Без этого, кстати, невозможно работать в прозе. Есть чувство меры, стиля и такта по отношению к жизни — нашей главной героине. Но кое-что из реальности не монтируется в логику этого вот моего текста, поэтому я не напишу подробно о причинах сильнейшего на самом деле желания сразу же открыть красную папку. Я этого не сделал.

А когда мы проводили Николая на Троекуровское кладбище, когда над его могилой был поставлен, ближе к Верочкиному надгробию, временный деревянный крест, когда помянули Николая в хорошем ресторане на первом этаже их сталинского лауреатского дома, вот тогда только, и не сразу, а через три дня, я открыл красную папку.

В ней были старые и недавние фотографии и тоненькая стопка листов, исписанных дрожащей рукой. На каждом листе помещался небольшой фрагмент текста, фрагменты были пронумерованы классическими римскими цифрами. Что ж, краткость — сестра драматурга, а римская нумерация придавала тексту академичность.

Что там было написано, на последнем листе, мы, любезный читатель, узнаем ближе к концу этого моего повествования. Я тогда как молотком по голове получил, я даже за сердце схватился, и я оступел, и я плакал, и смеялся сквозь слезы. И я, мне кажется, немного все же понял то, в непонимании чего мне признался Николай.

Жизнь. Понимаете ли вы, например, ее? Нет?

Что ж, так даже интереснее и жизнь жить, и вспоминать о жизни. В двух этих занятиях не надо торопиться, хочу я сказать, отступая в моем рассказе назад по шкале времени и погружаясь в некоторые подробности.

Когда мы говорили по скайпу, мне вспомнился пылкий терапевт Сумароков. Костя. Все реже мы видимся. Он, как я и как до самого конца Николай, много уже лет холостяк. Жена от него давным-давно ушла. К мускулистому окулисту. И мужские обороты он давно уже и навсегда сбросил. Но подозреваю, хочет еще раз жениться. Это понятно без лишних слов и у женщин, и у мужчин. Не понимаю только зачем. Воды подать на старости. Не знаю. Ко мне через день заходит, хотя не обязана посещать так часто, женщина из социальной службы. Галя. На ней, добровольно, аптека и магазин, иногда она что-то готовит, хотя я обычно заказываю еду из сетевого магазина, а иной раз стряпаю сам, как умею. Гале только что сровнялось сорок, и она все еще довольно привлекательна, но это оружие против меня не использует. Правда, однажды взялась, переломившись в талии, мыть полы. При мне. Ни о чем таком она беседы не заводит. Я ей приплачиваю, берет, деньги нужны, у нее двое, сын и дочь, ипотека. Она не жалуется, в душу не лезет, душу не открывает. Она ждет, терпеливо, упорно, молча, когда я подпишу ей квартиру. Больше некому ведь, как она считает.

А мне есть кому ее оставить. Дочь Верочки Серафима живет на свете.

Верочка. Я, преодолевая старческое бессилие, которое для себя называю обычной усталостью, смог проводить ее в последний путь на Троекуровское кладбище, где прах ее был упокоен на аллее актерских могил. Диагноз не назову, скажу лишь, что она до конца оставалась красивой. Я после прощания вышел на воздух, стоял с непокрытой головой. Когда гроб выносили из театра, раздались трагические аплодисменты. Шел снег пополам с ледяным дождем, но люди у театрального подъезда в Камергерском переулке ждали и не расходились. Театральная старушка, хорошо, как вчера виделись, помнившая Раневскую, плакала и прятала напудренное добела лицо в лысеющую лису воротника. Жалко было Николая и Серафиму. На моем лице смешивались слезы и влага растаявших снежинок.

Вдоль Камергерского переулка, от Тверской на Большую Дмитровку, низко и тяжело пролетела стая мокрых черных голубей.

Кем была для меня Верочка когда-то давно, в замужестве, Николай не знал. Не думаю, что даже догадывался. Она ему не сказала, не говорил, уж конечно, и я. Обрушить на старика ревность к прошлому — это выше моих сил. Да и зачем? Все это окончательно отгорело.

На свете у него осталась Серафима. В свои уже не юные, но даже не начальнo бальзаковские годы она прекрасна. При ней и красота лица, и головокружительная стать, и особая женская способность замечательно уютно налаживать вокруг себя обстоятельства и материал жизни. Этот талант ни одному мужчине по-настоящему не свойствен. Среди нас встречаются, и нередко, педанты, у которых «все на месте», но педантизм сковывает их по рукам и ногам. По сердцу и по разуму. А Серафима ласкала окружающую житейскую среду. И среда благодарно мурлыкала от удовольствия. Но это был, так сказать, первый слой. Глубже — ждущая счастья душа. Пишу об этом высоким штилем, чтобы не допустить даже тени двусмысленности. Чтобы никто не догадался, что я в нее влюблен.

А я в нее возвышенно влюблен. Платонически. Так мужчина любит ту женщину, которая похожа на его любимую музыку. У меня это барокко.

Она в разводе уже больше трех лет. Проворный муж погнался на длинной, черной, как катафалк, машине за барышней моложе Серафимы. Юница держала его в незавидном статусе «папика». Николай говорил мне об этом, едко насмехаясь над бывшим

зятем. Николай звал разлучницу нимфеткой, я про себя называл Серафиму феей. Нимфетка — это нисходящее прозвание нимфы, а у феи никакого такого нисходящего определения нет. И быть не может.

Всего два раза за все наши прежде частые встречи у отца о ветреном предателе упомянула и Серафима.

Она подала на развод, не найдя ни сил, ни малейшего желания вторично заполучить своего недоолигарха, и вернулась под отчий отцовский кров. Было у нее и свое благоприобретенное небольшое гнездышко. Но Серафима, надо заметить, одна не была, хотя никогда нам таинственного «его» не показывала.

О том, что он есть, я догадался, не имея к тому ни единого доказательства. Уверенно почувствовал. Мужская интуиция в таких случаях столь же обостренно проницательна, как и женская. Не знаю, голос изменился у нее, наверное. И она стала держать себя внешне более собранно и исподволь, неспециально же она это делала, подсознательно маняще. Не передо мной, ха-ха. Для себя, которую видят и которая знает, что на нее смотрят мужчины. При таком понимании у старушек спины распрямляются.

Старики — это самые утонченные ценители женской красоты. Лишенные возможности ею непосредственно наслаждаться, мы ею восхищаемся даже до тайного восторга.

На круг получается, что в то время у меня, Николая, Серафимы и Кости Сумарокова не было законной второй половины. Может быть, что именно по этой причине мы все были по-разному, но крепко привязаны друг к другу. Лиза держалась от нашей компании крайне далеко.

Больше всего я раньше, застольно или просто под чай, общался с Николаем. Наши разговоры были продолжительными по той дополнительной и едва ли не комической на первый взгляд причине, что между нами несколько лет шел один довольно-таки странный спор. Мы в нем завязли, то сближая позиции, то расходясь для передышки. Мы о нем, не сговариваясь, своим не говорили. Не хотелось породить мысли о диковатом стариковском чудачестве испытанных друзей.

А как иначе обозначить суть спора, если мы отстаивали два, так сказать, постулата о любви. Я был до фанатического даже возбуждения убежден в том, что суть любви лучше всего метафорически воплощает лес. Николай всеми силами доказывал мне, что гораздо лучше это делают море и горы.

Не дураки ли, не маразматиками? Нет. Это ведь был литературный спор. У нас в России, замечу, вся жизнь литературная. О каждом человеке можно написать роман, пьесу, повесть, не говоря уж о сильном рассказе, и в любом произведении, если у автора есть талант, будет и красота жизни, и про любовь, и про грехи. В некоторых и про Бога. Да и просто совсем даже заурядная, блеклых тонов, жизнь любого русского человека имеет, как минимум, замысловато закрученный внутренний сюжет. Государство, что ли, у нас такое или климат, не пойму даже.

Возможно, это относится к любому жизненно неяркому человеку любого народа. Этого не знаю. Не эксперт. Я родину люблю, хотя, может быть, странную любовью. Какой умею. На развод не подам.

Наш спор по обозначенным причинам оснащался, естественно и неизбежно, литературными реминисценциями и опорой на прямые цитаты. Опровергая морскую теорию Николая, я сочинил ироническое стихотворение с явным намеком на зрящность его потуг считать море метафорой любви. Я написал вот что:

В глубинах мрачных океана умело плавают акула.

Когда-то, поздно или рано, ты, Коля, упадешь со стула.

Орел крылом озон волнует и пенит облако сырое.
Устойчивость твоя на стуле да пусть пребудет век с тобою.
Вот альбатрос ветрами движим,
Вот дым пускает пароход.
На стуле сидя, ясно ль видишь
Ты гад морских любовный ход?

А помимо стихов я говорил Николаю, что море соленое. А что такое соленая вода? Да, слезы. Но любовь, хотя и прибегает иногда к слезам, не состоит из слез.

На самом деле, помимо споров забавы ради, окрестный и дальний мир был для нас все еще таинственно прелестен и нежно и остро любим. Увы, невзаимно. Как если бы он был красивой молодой женщиной. Сусанной. А мы понятно кем, не хочется даже писать.

О, господа, вы не знаете, как хочет любить старость. И лучше вам не знать. Но это к слову.

В мире все еще было много лесов, морей и гор — вот что нас крайне радовало. Ну, в каждой избушке свои игрушки. Мы наслаждались лесами и борами, ласково снисходили до опушек и перелесков, восхищались корабельными рощами, уважительно отзывались о лесополосах, радостно примечали цветущие кустарники, млели над купами и кущами, не забывали умилиться видом на холме среди равнины четы белеющих берез. Я уж молчу о джунглях, о секвойях, кипарисах, кофейных, пробковых и хлебных деревьях и о прочей лесной экзотике. Из излюбленного у меня войлочная и, в особенности, дикая вишня. Вкус! Вы не знаете вкуса дикой вишни! А я знаю.

А есть еще Альба Плена! Каково?

Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!

Бунин воспринимал природу чувственно, почему и был изощренным певцом лесной палитры, что особенно ярко проявлено в его «Листопаде». Перечитывая бунинский перевод поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате», я увидел эту желтую кору. Рассматривая ее зорким внутренним взглядом, я обнаружил, что она не совсем бело-желтая, а отликает розовым тоном. Желтой, вернее, едва заметно просвечивающей старым золотом она бывает ближе к вечеру, когда солнце, оставляя бездонный лазурный зенит, движется к западу неба.

Увы, я ни разу в жизни не видел бамбук диких лесов Сахалина, хотя и шел однажды мимо Сахалина на судне «Байкал» послевоенной немецкой постройки. Мне мечталось сойти на некогда каторжный берег, под его черные утесы, и просто постоять у кромки прибой и подумать о Чехове. Чехов любил сады...

А бамбук диких лесов Сахалина есть второе по редкости дерево России, наиболее же редкое дерево нашей земли — это фисташка.

Бамбук Сахалина всего девять лет живет в суровых условиях.

Я, однако, увлекся. Под сень лесов ушел.

Спор-то был хороший, из редких, но на самом деле это была интересная для нас модель конфликта, лучше сказать, сменяемый модуль, который можно насыщать разным содержанием. По поводу нашей обоюдной упертости в предпочтениях метафор любви я сочинил нечто в рифму.

Николай прочитал и подтвердил, что так именно оно и есть.

Желая щегольнуть старинным словом,
 Поэт мне заявил, что нынче хлад.
 Нет, нынче мраз, поправил я сурово,
 Но он моей поправке не был рад.
 Красавица тут проходила мимо,
 Рукой с перстнями придержав вуаль.
 Взглянув ей вслед, воскликнул я: Фемина!
 Поэт же дико взвизгнул: Этуаль!
 Года бегут вперед неудержимо,
 Мы десять раз сменили календарь.
 Как встретимся, бросаю я: Фемина.
 А он шипит в ответ мне: Этуаль!

Смех смехом, а дело в том, полагаю, что мы, писатель и драматург, в связи с возрастом утратили живые связи с реальностью. Ушли в литературно-растительно-горно-морской спор. Оторвались от жизни. Вернее, это она, быстроногая, летящая, стремительная, трагическая, смешная и божественно прелестная, оторвалась от нас, у которых руки тряслись от старости. Оставалась нам, значит, безответная природа.

Горы вот взять. Мое знакомство с большими горами ограничилось лицемерием с далекого равнинного расстояния розовой на утренней заре пирамидки Эльбруса.

Зачем на земле горы? Прихожу к выводу, что для вулканов, селей, камнепадов и снежных лавин. Это все вещи неприятные. Но все сущее необходимо, нужны, значит, и горы. Эверест, например, стал самым высокогорным на земле местом гибели не то безумных, не то героических альпинистов. Они лежат там, как льдинки, и их никто не может оттуда забрать. Они навек со своей огромной холодной любовью.

Надо ли говорить о нашей, кроме споров, шуток и иронии, любви к океанам и морям, большим и малым рекам, озерам, водохранилищам, ручьям и веселым лужицам? К водопадам тоже. Полагаю, что не надо, это все всякий любит.

Любили ли мы говорить о политике?

Лишний вопрос. Да, говорили и спорили, доходя всякий раз до точки кипения, но ни разу не опустившись до взаимных оскорблений. Разве что мысленно. Мысленно я один раз хотел Колю к стенке поставить. Ужаснулся даже тому, что эта идея тенью мелькнула в подсознании. Подсознание нас, значит, предостерегает, а от чего, это каждый о себе знает.

Я умолчал о женщинах, потому что эта тема очень редко и скупно нами затрагивалась.

Мы не успели в этой жизни договорить. Ни о чем мы с тобой не доспорили, Николай.

Когда его не стало, я понял, что наши разговоры были творчеством. А творчество — это восхищение жизнью.

Теперь, после его смерти, у меня есть возможность ответить Николаю. Я живой.

I. Николай

Митя, ты читаешь мою рукопись, когда меня уже нет. Письмо, так сказать, из прошлого. Все происходящее с тобой тоже станет прошлым. У тебя, друг мой Дмитрий Михайлович, есть возможность еще сколько-то лет наблюдать этот процесс. Ты никогда не был, жердина, румяным толстячком. И правильно, дольше проживешь. Завидую тебе, Митька! Больше полжизни мы с тобой трудились по кабинетам, я потяжелел до того, что сердцу стало плохо, а ты бодрячком.

Митя, прости меня.

И за то, что обременил тебя этой писаниной, и за что-то гораздо более серьезное, о чем скоро узнаешь. Только прошу, Бога ради, не бросайся торопливо перелистывать эти мои листочки, чтобы понять, что кроется за моими словами. Успеется.

Если бы я писал тебе из загробного мира, то я написал бы, что здесь тишина. Может, я устал жить. Не знаю. Тишина. Тишина. Тишина.

Митя, прости меня. Прости. Прости.

Не заглядывай в конец рукописи. Всею свое время.

Почему это вот, что ты сейчас читаешь, я начал писать? Наверняка хочешь спросить. Но ведь тебе известна эта тяга. Все, что мы пишем, есть нужное нам самооправдание перед Богом или совестью, что в определенном смысле одно и то же. Славим мы или проклинаем, мы в любом случае выгораживаем себя: вот, Господи, видишь, я заклеил порок. Я, запомни. Господи, хороший, моральный человек.

А по жизни, Митя, мы часто грешники. И даже иной раз подлецы. Ну, ты знаешь, каков наш брат в жизни. Впрочем, о чем я. Я драматург, ты писатель. Звучит пышно, но пусто. И не нам с тобой корить друг друга.

Ладно. Не в этом дело. Я пишу от бессонницы. Начал писать только по этой причине. Вернее, записывать свои мысли. Что им пропадать, а так хоть ты вот прочитаешь. Я постепенно расписался. Вошел во вкус. Я расчехлился.

При этом я уверен, что ни один писатель в мире никогда честно о себе не писал. Честность — это все до конца написать. А у каждого есть то, что он хочет спрятать от Бога.

Показывать или нет эту рукопись одному хорошо тебе известному человеку, это ты сам решай. Про какого человека речь, понять тебе будет нетрудно.

А может, мучительно трудно.

На этом пока ставлю точку. Точка!

Я прочитал это и задумался. Я был убежден, что ничего такого нового я о Николае все равно не узнаю, когда дочитаю рукопись до конца. Он прожил жизнь как порядочный человек, какие уж там тайны. Не было лишь понимания у меня, кто этот «один человек», которому я буду или не буду показывать рукопись. Что ж, Николай умел удивлять, интриговать, озадачивать и ставить в тупик. Драматург, что ни говори. Завязка, кульминация, финал. Но тут, как говаривали в старину, «пришло в тупик, что некуда ступить».

Я очень хорошо знаю, что старики о себе и вообще о жизни пишут двумя способами: либо неуклонно следуя хронологии, где зарубки дат мерно отмечают главные события прожитого, либо воспаряя в уксусное, с высших позиций, обличение всего и вся.

Что выбрал для себя Николай?

Коля, Николай, Николай Сергеевич. Кто ты на самом деле для меня, ты, сын Сергея и Насти, муж Верочки, отец Серафимы прекрасной. Ты друг? Ты друг. Но друг — это и суть человека по отношению к другому человеку, и социальная функция, и иногда зеркало. Друг — это редкость. Настоящих друзей не бывает больше, чем любимых, за всю жизнь, женщин.

Почему ты сразу не написал о главном?

Тебе легко там, в тишине, а как мне быть?

Я сейчас подойду к окну и посмотрю на лес. Он внизу. Ты, Николай, в нем не раз бывал. Сейчас апрель. Лес совсем недавно, дни назад, был коричневым, земля под ним черной, напитанной талой водой, а сейчас она покрыта молодой, молоденькой травой, а лес тоже начинает быстро, с радостью, зеленеть.

И вот что. Я пишу этот мой комментарий тебе, Николай. Ты поклонник теории ноосферы и учения философа-космиста Федорова. Значит, ты ТАМ читаешь все это. А пом-

нишь, как взъярился Севрук из ЦК партии, когда в восемьдесят втором году, при жизни Брежнева, вдруг издали книгу сочинений Николая Федорова. Чуть издательство не разогнало.

Так получается, что и Севрук, согласно учению русского космиста, читает онлайн твой текст и мои комментарии.

II. Николай

Вот что я, Митя, вспомнил: библиотеку! Помню осень, день, обдуваемый свежим, но еще теплым ветерком. Мама сказала, что мы пойдем в библиотеку через лес. — Настя! Через лес?

Она улыбнулась, потому что ей очень нравилось, когда я называл ее Настя. Как мой папа Сергей. Я себя помню лет так с пяти. Вот как раз в июле пятого года моей жизни отец с матерью ездили в совхоз в гости к друзьям их студенческой эпохи. Там, в молодом саду рачительных агронома и зоотехника, я впервые увидел на ветках деревьев яблоки и груши. Я не знал, что это сад, я думал, что это лес. И я ярко представлял себе лес как изобильный сад. Я настоящего леса тогда не видел. Я думал, что сейчас приду с Настей именно в такой, только очень большой сад. Мы прошли через весь поселок и по полевой тропе двинулись к лесу. Ты ведь помнишь ее, Митя.

Я закрыл красную папку. Я отлично помню эту тропу, Николай. Но я раньше тебя увидел настоящий лес. Мы с отцом шли вдоль реки, и лес приближался и делался выше. Когда мы очутились под его сенью, меня поразил чудесный состав видов, красок, звуков и запахов, которые я различал куда тоньше и в гораздо большем количестве, чем отец. Я раз и навсегда полюбил и порхающих бабочек, и зависающих в трепетном полете, искристо посверкивающих крыльями стрекоз, и кропотливых, в черно-желтую полоску, пчел.

Мы любили наши леса. Один из них был сосновый бор. Второй был смешанный лес. Третий лес был на правом берегу Дона. Тоже смешанный, там обильно росла черемуха. Любовь к лесу насыщала мою жизнь чем-то вроде видений наяву и едва ли не галлюцинациями, сопровождающими плавный, но быстрый переход ко сну после того, как из моих рук падала книга. Постепенно настало, после «Лесной газеты» Виталия Бианки, время Тургенева. «Темные аллеи» Бунина библиотечарша мне не дала. Эту книгу я сам выбрал на полке, по названию.

Да, забыл. У нас между поселком и районным центром была настоящая полупустыня. Огромных размеров территория серо-желтого песка, поросшая редким ивняком, колючками перекасти-поля и в ветреную погоду подернутая небольшими, но совершенно настоящими барханчиками. Помнишь, как мы, когда начинался ветер, бежали в эту пустыню и, втыкая в песок розово-зеленые ивовые палочки, смотрели, как движутся барханчики. За ними, воображали мы, сине-зеленое море. А в море, у берега, плавают красивые смелые девушки. Помнишь?

Но стоп. Тут стоп. Про смелых девушек я присочинил. Восемилетний мальчик так думать не мог. Речь ведь об особой смелости.

Ладно, увлекся. Мы еще вернемся в пустыню нашего детства.

III. Николай

«Как о воде протекшей будешь вспоминать...» Это из Книги Иова. Вот, Митя, я пишу тебе и думаю, что непременно ты будешь вспоминать, напрямую или по ассоциации, многое из того, что мы переживали вместе или параллельно. Как о воде протекшей...

Митька! Я изрядно коньяка принял. С мысли сбился. Сидел на диване и смотрел на свои афиши. Хмель усиливает оптику души. Я вспоминал. Нет, разве я не был хорошим драматургом? Ты прочитай последнюю страницу. Разрешаю. Может, мне на том свете легче станет. Но ты, Митя, гордый, ты этого не сделаешь. Но наигранная гордость, только без обид, Митя, выглядит глуповатой. Замещающей что-то гораздо более важное...

Знай, Митя, что я самый счастливый и самый несчастный человек на свете. Такое редко, но бывает.

Николай, ты самый счастливый и самый несчастный человек... Кто знает, кто знает. Я, вспоминая свою жизнь, тоже могу назвать тебя самым счастливым и самым несчастным. Но я хочу предварить мой тебе ответ одним воспоминанием. Если бы мы разговаривали вживую, ты бы удивился, почему я об этом вспоминаю. Сейчас объясню. Помнишь, Коля, как нас принимали в комсомол, когда нам исполнилось четырнадцать? Комсомольские билеты нашему классу вручали в райцентре. В райкоме. Из окон комсомольского секретаря виден был ближний, темно-зеленый лес, почти черный, по случаю нагона сильным северным ветром непроницаемых ливневых туч.

Секретарь предложил нам организовать общешкольную инициативу посадить сосны на диких песках! В те времена такие полезные затеи были популярны. Я, юный энтузиаст, тогда воскликнул: лучше яблоневый сад!

А секретарь усмехнулся: скажи еще, вишневый. Зачем, он сказал, сад выращивать, за ним круглый год профессионально ухаживать надо. Зимой зайцы кору сгрызут. А сосны сами растут по сто лет. Картину Шишкина знаете? — он спросил. А песок наш надо закрепить, чтобы он не расползался на половину района. Сады садоводам, леса комсомольцам!

Я, Николай, хочу поехать туда, домой, я там ведь сто лет не был. Хочу увидеть эти сосны. Им теперь за шестьдесят. У них на закате медные стволы, как пишут плохие писатели. Но у сосновой коры на закате, во-первых, быстро меняется цвет, а во-вторых, он не красно-медный, а куда многокрасочнее. Там и золотцем тронуты, и бронзочкой, и латунями, и есть еще на молодой коре и даже на старой зеленые и даже не слишком бледные крапины и пятна.

Сейчас, Николай, на Москву весенний снег идет — снежинки большие, как вишневый цвет. И падают они быстро, почти отвесно. Грустная картина, но все же — хорошо это — снег с неба. Белый он. Поднять к небу лицо и не закрывать глаза. И пойдет влага по лицу, а она соленая, знай смаргивай. Это я про нынешнюю мою прогулку. На набережной был, под Китай-городом.

Так вот, лес. Николай, я, когда читаю твои странички и когда, как сейчас, что-то пишу в связи с прочитанным, то я очень тревожусь. Бесконтрольно волнуюсь. Ты невольно меня привел в душевное возбуждение. Вот руки у меня трясутся, пальцы мимо букв попадают. Есть, конечно, одно средство. Запретное, но я пренебрегу запретом. Я ведь сейчас полечу поверх барьеров. Только вот рюмку приму.

Вот. Отпустило. Пишу.

Николай, давно, много лет назад ко мне, предварительно позвонив, пришла Верочка. Она знала, что Лиза на гастролях в Красноярске, далеко. Она знала, женщины это всегда знают, что я в нее влюблен самой настоящей, тяжелой, безысходной, мучающей любовью. Она не давала мне знать, что догадывается об этой моей любви. Но я что-то чувствовал, перехватывая иногда ее быстрый тайный взгляд.

Она позвонила, сказала, что зайдет ко мне. Сказать, что это было неожиданно, это ничего не сказать. Я сначала застыл, потом забежал по квартире, заглянул в хо-

лодильник, там была водка, а в баре красное вино, коньяк. Конфеты у меня были. Сок какой-то.

Она пришла, я помог снять плащик, повесил его заботливо в шкаф. Она была как бы немного сонная, как будто крайне сосредоточенная на чем-то своем. Я подумал, что она хочет что-то рассказать мне о тебе, Николай. Может быть, о твоей измене, мало ли. А может, даже о разводе. Но это были ошибочные мысли. Верочка долго молчала, потом сказала:

— Иди в ванную, набери ванну, я хочу принять ванну, что тут странного. Я пойду принимать ванну, а ты, ты, Митя, ты, дорогой мой, хороший, ты раздевайся и приходи ко мне в ванную. Но сначала постель расстели.

Я не могу описать, что я почувствовал. Я сидел, ничего не говоря, потом пошел и приготовил ванну. Вернулся в комнату. Сказал, что ванна готова. Верочка встала и ушла в ванную.

Я пошел в спальню. Постелил новую простыню.

Разделся и вошел в ванную горячую комнату.

Все у нас было до безумия горячо и в ванной, и в спальне, куда я на руках принес Верочку. Это было так, как не может быть. Но это было.

Когда мы прощались (я вызвал ей такси, проводить ее она не разрешила), она сказала мне, что будет приходить ко мне. Потому что я вижу, что ты меня любишь, а любовь — такой груз, который может сердце раздавить, так она сказала.

И она приходила ко мне. Это было одиннадцать раз.

Потом она сделала большой перерыв, я уже и не надеялся на новое свидание, и она по телефону сказала, что забеременела от мужа, от тебя, Николай, а наша любовь пусть будет в глубине души и мы никогда больше не ляжем вместе.

Я вот я ее люблю, но ее нет, и вот я тебе пишу, но тебя нет.

У тебя осталась на земле Серафима.

Прости меня.

...Я написал все это, выключил компьютер, подошел к окну. Было полнолуние, но небо затянуло облаками. «Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные глядела...» — лучше, конечно, не скажешь.

Я лег в постель, смотрел через высокое окно на неясно светлеющий круг на облачном поле и потом понял, что смотрю долго, потому что этот круг сместился в раме большого окна с правого края на левый. Он как будто протопил тучи, и луна засияла освобожденным серебряным светом, и в этом свете нежилась мой город. Мои города. И Москва, и наш райцентр, вобравший в себя поселок моего детства, и, наверное, Красноярск, где была когда-то на гастрольях моя жена Елизавета Вознесенская.

Под лунным светом фосфоресцировала и та полупустыня, которую мы в юности засадили тысячами сосен. Они теперь выросли и стали, все вместе, сосновым бором.

Под луной он черный как уголь.

Я не знал, в окно какого из жилищ Серафимы светит серебряная луна. Это не мое дело думать об этом. Не мое.

...После этой записи я стал каменно спокоен и даже ко всему равнодушен. Листочки Николая я не тревожил, фотографии просмотрел только через неделю, и они ничего для моей памяти не прибавили, многие из них были и у меня.

Я съездил на Троекуровское, положил два букета на две могилы, смахнул рукой без перчатки капли холодной воды с гранитных памятников Верочки и Николая.

Простился.

Дома открыл красную папку, взял, миновав предыдущие, последний лист рукописи Николая. Он был обозначен римской семеркой.

VII. Николай

Вот, Митя, ты и дошел до седьмой страницы моего послания. Сломал седьмую печать. Поскольку тихой тенью только что прошел намек на Библию, то скажу тебе, что утешения моему горю я, перечитав ее, не нашел. Но подумал, что, может, что-то пропустил. Пошел в церковь на Ярославском шоссе, мы с Верочкой ездили мимо нее на дачу, вернее, возвращаясь с дачи. Она на нечетной стороне Ярославки. Потом мы эту тебе известную дачу продали, потому что у самих сил ездить не стало, надоело, а Верочке она была не нужна. Деньги пригодились, когда мы ей двушку покупали. Вот я пошел в эту церковь, причастился, исповедовался. Не отпустило, видно, в вере я слаб. На другой день попросил священника помочь мне в моем желании обрести духовное облегчение. Рассказал ему о моей беде. И он, представь себе, нашел помощь. Хотя в Библии много сказано о женском бесплодии и ничего не сказано о мужском, то я как особое откровение воспринял указанное им мне одно благословение, которым Второзаконие благословляет Путь Божий. «Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в стаде твоем». Я в богословии не силен, об этом и говорить не стоит, но я тогда зацепился за эти слова: не будет бесплодного.

А потом я понял, что это не про меня, потому что я абсолютно, стерильно, генетически бесплоден. Три лаборатории подтвердили независимо друг от друга. Мой случай был случаем абсолютного, неизлечимого бесплодия. А ведь сначала Верочка насчет себя сомневалась, но потом все о себе узнала, и ей сказали, что ее лоно ждет мужского семени.

Иногда мы плакали вместе, иногда порознь.

Я видел, что ты любил мою Верочку, мою жену, видел, что ты ничем не давал ей это понять. Но бешенство к тебе во мне иногда чуть не взрывалось. Мелькала злая мысль, что и ты выхолощенный от природы, но однажды я подслушал разговор Верочки и твоей Елизаветы. Она, Елизавета, несколько раз беременела от тебя и тайком делала аборт. А когда надумала родить, то... но ты сам все знаешь.

И вот однажды мы сидели, трудно молчали, и я сказал:

— Верочка, иди к Дмитрию, я знаю, что ты знаешь, что он тебя любит. Ложись с ним. И не раз. Ложись, потому что мне не его жалко, а тебя, потому что ты родить хочешь. Ложись, пока не понесешь. Я тебе клянусь жизнью моей, что никогда ни словом, ни взглядом, ни даже тайной мыслью не укорю тебя.

Она пошла к тебе, она потом ходила к тебе.

Ты ей перстень с рубином подарил, я промолчал.

Потом родилась Серафима. Мы были счастливы.

Мы помнили, конечно, что у тебя не было детей. Верочка, я видел, я понимал, страдала, сохраняя от тебя тайну отцовства.

Я простил себя, готовясь к прощанию с миром. Верочка в моем прощении не нуждалась, а от тебя его получить не могла.

Твою дочь, твою и Верочки, я считаю своей. Вот как будто и я не бесплоден, Господь дело знает. Ты теперь знаешь, что она твоя дочь. Как тебе поступить, что тебе посоветовать, я не знаю. Прости меня. Верочка — святая.

В лесу деревья стоят порознь, но их корни тайно переплетаются.

Все один обман, как писал старинный поэт Александр Сумароков.

Прощай, Дмитрий.

...По прочтении седьмой страницы я сидел оглушенный. Трудно было собрать мысли, смятение чувств сминало меня, как рука сминает лист бумаги. Сердце трепетало. Я метался. Я принял нитроглицерин. Лег. Никакого решения у меня не было, и я не мог понять себя. Не мог не то что решиться что-то сделать теперь же, но понимал, что и никогда ничего не сделаю.

Краем сознания мелькнула мысль, что куда-то исчез из моей жизни Сумароков, но это меня совсем не тронуло.

Совсем... куда-то... сума... сумаро... сумерки.

Утром я вспоминал, чтобы сохранить его, ночной сон. Как я медленно иду по бывшей полупустыне детства, где теперь не беззащитные, маленькие ростом саженцы сосен с трогательными детскими иголочками, а могучий и все еще растущий сосновый бор. На обращенной к востоку солнечной и теплой стороне светящихся сосновых стволов видно медовое мерцание больших, сливающихся в гроздочки и слиточки капель янтарной смолы. Я рассматриваю их и вижу внутри слиточков длинноногих черноглазых комариков с тончайшими слюдяными крылышками. Девочку-стрекозочку вижу.

За сосновым бором лес с черемуховыми большими деревьями. На тяжело согнутых ветвях изобильно висят черемуховые кисти. Каждая крупная черемушинка, а они все крупные, влажно блестит фиолетово-черным матовым отливом. Кто-то дикий собирал здесь черемуху и, лениясь дотягиваться до кисточек, обламывал большие ветви. И они, надломленные и ободранные, обреченно висят теперь, покрытые заснувшими листьями, которые уже опадают.

В моем сне мелькнуло море... мокрый песок пляжа, под сияющим солнцем накатываются один за другим зеленоватые, нет, там есть и синий, и фиолетовый тон, полупрозрачные на просвет, как на картинах Айвазовского, штормовые, вздымающиеся и прогибающиеся, перед тем, как обрушиться на берег, морские валы с белопенными чубами и гладкими долгими заливками.

Такой, Николай, был мне сон, про любовь.

Около одиннадцати часов утра мне позвонила Серафима, сказала, что хочет угостить меня чем-то вкусненьким, если я заварю крепкий чай.

Она приехала, поцеловала меня в щеку, я чинно, церемонно помог ей снять пальто и, взяв за руку, как ребенка, привел в гостиную. Здесь на скатерти стола расположились электрический, но все-таки латунный, с медалями, под старину, самовар, а посередине стола красовался белоснежный, расписанный фиолетовыми крупными цветами и резными листьями, с тонкой золотой отделкой, кузнецовский чайный фарфор.

Серафима выложила на круглое блюдо черемуховый торт.

Она стала с милой деликатной улыбкой разливать чай, и я увидел на ее руке перстень с красным винным рубином.

Мы встретились глазами.

САПСАН

Сапсан гнезвился на утесе Московского университета; жил безбедно. Яростно, чисто охотился, но жил тишайше. Что сапсану шуметь, что кричать: такой густой, от города, шум в небе стоял — летать тесно. Город не только мутит дымами небесный над собой воздух, но еще и мял его, и корежил, и морщил, и раздирал всякими своими воплями, свистами, хрипами, щелчками, стонами, шорохом, визгами и, в особенности, музыкой. Ой, музыка ли это, музыка ли это — сапсан не ведал. И никто не ведал, кого ни спроси в громаднейшей башне под гнездом сапсана на ученом утесе.

Я достоверно знал о его гнезде, потому что прочитал в правдивой газете, что мало сапсанов в Москве, и, помню, удивился: есть, оказывается, даже сапсан в городе — и не в зоопарке, где птицы, может, с ума сходят. Думаю, и звери — тоже. С ума они сходят там, в зоопарке — непривычно все же, гадко от людей. Что за жизнь, поймите, в зоо-

парке. На сытость зверью если и не наплевать, то все равно свобода лучше сытости. Это человеку сытость важнее важного, но не зверю, нет, но не птице, нет, не птице.

Человек за сытость убьет.

Сапану она не нужна, тяжелит, ему — сила нужна, простая ярость от крови. Человек-то не летает, нечем махать, крыльев нет у бедного, а сапан — вот слушайте, слушайте Брема: «При преследовании добычи он летит с такой быстротой, что слышен только свист и виден летящий по воздуху предмет, в котором нет никакой возможности различить сокола».

Сказал Альфред Брем, а не в журнале для молодежи. Но продолжу мысль, газета точно писала: сапан живет на МГУ — и может навсегда покинуть столицу, потому как — экология больная, метастазы цивилизации лижут, знаете, даже такие отвесные, уступчивые башенные утесы, как имени Михаила Ломоносова главный университет, и вот дотянулись до сапанова гнезда. Улетит он, улетит, и не увижу сапана, если улетит он — а куда ему деться от грязи городской жизни, от мусора звуков — только лететь, лететь.

Думаю, так бы он поступил: взлетел бы над разлапистой звездой над храмом науки (размах ее, вообразите себе — девять метров), посмотрел бы хоть на Новодевичий монастырь — всегда там пернатые плавают на воздухе, высмотрел бы голубя позобастей, зоб чтоб был с переливами — и стукнул бы его! Вот и силы на дорожку! Но что там голубь, в нем крови мало.

Мяса теплого мало!

Но хотя бы голубя, хотя бы голубя...

А гуся, допустим, где изыщешь в московском небесном поле, где? Перелетные когда еще соберутся перелетать, а деревенские — ну какие тут деревенские: если есть где, то не летают, ходят, как поросята с крыльями, а для чего им крылья — неясно. Рудимент.

Да их и нет, деревенских гусей, и сапан хоть и быстрый летун, а как-то не рвался на подмосковные деревни падать. Сапан, знаете, падает в атаке под углом в сорок пять градусов. А деревень не стало. Тянуть бы сапану самолет, но — излишне высоко летают самолеты. Вкус их птицам неизвестен, и вроде бы самолет может сам птицу сожрать, если наскочит на нее в прямом ревущем полете.

Вот я пришел к университету, я хотел увидеть сапана в Москве, и я стал ходить, задрав голову, а вы попробуйте походить вокруг храма науки, громаднейшего здания, задрав голову.

Не закружится ли голова?

На свое счастье, встретил гринписовца (вот слово-то, извините), ну, «зеленого» (а «зеленый», чтоб знали вы, это тот, кто был в Гражданскую войну, что в прошлом веке, ни за «белых», ни за «красных», нынешний же «зеленый» не значит, например, молодой, но означает — ходит на демонстрации защищать природу. Отчего многие смеются. Я не из таковских, что смешного в издевательствах над природой — но, правда, смешно протестуют!), — вот гринписовец мне и подтвердил: есть сапан, есть тут сапан. И заорал: «Вон летит!»

А я в очках. Я в очках. Ничего не увидел, только глаза заслезились. Зря он орал.

Может быть, и есть тут сапан, мне-то что за дело?

Дело в том, что я женщину разлюбил.

И вот меня потащило к университету на Ленинские, тысяча извинений — на Воробьевы горы. (Все с птицами связано почему-то, с птицами. Не крылышки ли режут-ся? Если они, то ангельских мне, пожалуйста, не надо. Не надо, я грешный, в портмоне у меня есть маленькая бумажная иконка — икона Божией Матери «Споручница грешных». Это, наверное, значит, что она грешных оберегает. Я не знаю.)

Я женщину якобы разлюбил.

Меня потащило аж на Ленинские горы, тянуло повыше забраться. И вот я в метро прочитал газету, а там как раз про сапсана, и я подумал: есть ли что-то общее между сапаном и мной? Сапан — это мужского рода, это — сокол. Имя его — калмыцкое, а я даром что в правильных очках, но все ж таки чуть косоглазый. И еще: у меня плохо растет борода. Это признак, что во мне капля татарской крови, а где татарин, там и калмык.

Все люди, к сожалению, одна большая семья, потому что женщины всегда изменяют, что теперь, что в глубине веков, поэтому все люди родственники.

Все смешивается в женской тесной глубине.

Ты полюбишь женщину и станешь сохнуть, а она с тобой, только не волнуйся, в родстве.

Вот прочитав в метро газетку про сапсана, я понял, что надо делать: надо думать про него, про сапсана, но не про мою с... милую. Там, в университете, продаются разнообразнейшие книги, есть и Брем, но мне зачем покупать — я открыл том на развале, прочитал, запомнил, все понимаю про сапсана.

Ты только, говорил я себе, не думай про нее, если якобы разлюбишь, не думай изо всех сил, не то — в дурдом, дружок, в дурдомчик, там таких принимают. Хотя сейчас есть могучие, лютые таблетки — махнешь парочку, запьешь водкой и...

И будешь думать про нее.

Но ты лучше думай про сапсана, он ведь брат тебе.

Брем по томам отдельно не продавался, да мне и денег жалко, я их лучше на бинокль потрачу.

Бинокль мне пригодится для наблюдения за птицами.

Сейчас нет дефицита никаких товаров, поэтому я быстро купил зеленый пятнистый бинокль. Как бы армейский — что значит надежный. На правом окуляре там рубчатое колесико — кроме того, что между трубками, и это колесико вот зачем: если у кого глаза разные по зоркости, тот себе может поднастроить под каждый глаз свою зоркость.

Слепые оптику уважают. Благоговеют.

Сапан различает голубя с восьми километров.

Я залезу на университет повыше, налажу бинокль — вся Москва перед глазами. Гляну, само собой, в ее окно, но поскольку суббота, то дома она точно не сидит, а мотается — и я знаю точно, где она мотается.

Полагаю, я рассмотрю, и с кем она мотается.

Моя!

Я довольно прекрасно знаю, где она мотается, когда одна и что ест. Где она бывает, когда захочет поесть. Какие она магазины смертельно любит, и уж если начнет мотаться, то обязательно там окажется.

Большую часть их мне неплохо видно.

Москва, конечно, большой город, но я особо не тороплюсь. Все равно я ее разлюбил.

Спешить теперь особо некуда.

Я поднялся на лифте на двадцать восьмой этаж, там аудитория столов на восемь. Пробрался к окну, смотрю. Наверное, стекла бинокля блестят, так что если она случайно бросит свой взор на здание университета откуда-нибудь снизу, из Москвы, то, не исключая, заметит острый блеск оптики.

Немало времени я там убил, на университете, а ничего не разглядел. Но кое-что видел. Я там ведь ночь просидел, и я прятался. Невольно видел любовь студентов. Я прятался под столом. И так далее, неинтересно.

А днем я видел тоже любовь, там много вокруг университета мест, где наскоро кое-что и сверху видно, но неинтересно.

Вот я думаю: вот бедный сапсан с его зрением — чего он только не видит из поднебесья, летая над Москвой.

Я не думаю, что он приглядывается, например, к голым пляжам в Серебряном Бору. Сапсан не так чтобы часто смотрит на землю, его ярость — вся в небе, он себе крови ищет в небе, хотя гуся, стукнув, добывает на сырой земле.

Сапсан ищет себе крови в небе.

Я свою женщину ищу на земле.

К ночи ничего уж мне не видно, но я все шарю и шарю по светлым местам, по нарядной архитектуре, и, знаете, даже увлекся: ну до чего же хорош, ой, до чего же красив наш город.

Снова туда, где море огней.

Москва, Москва, люблю тебя как сын.

Город моей женщины. Горжусь. Невольно.

Я проспал там ночь, утром пораньше приладил на свой наблюдательный пункт. Я ничего не ем двое суток, как ее разлюбил, и не пью.

И не хочу.

Мне бы сожрать голубя!

Его кровь ведь красная, яростная и соленая!

Утром в оптическом радужном воздухе пронеслась стремительная тень — не сапсан ли? Не к ней ли — рассказать обо мне?

Утро в Москве прозрачное, только толстый, мутный блин смога висит над центром — ветра нет, к сожалению, чтоб сдул подушку дыма с любимого города.

Тень пронеслась быстро, а бинокль — прибор дрожащий, за птицей следить трудно. За сапсаном не уследишь, точно.

«При преследовании добычи он летит с такой скоростью, что слышен только свист и виден летящий по небу предмет, в котором нет никакой возможности различить сокола».

Знаете ли вы, приматы, какую скорость развивает сапсан в боевом падении на жертву? Вы не поверите. До трехсот пятидесяти километров.

Наступило воскресенье. Воскресенье — день весенний, песни слышатся кругом...

Посмотрим. Посмотрим.

Воскресенье, а явились студенты со студентками — и началось. Я не стал под стол прятаться. Они тут думали потискаться, но увидели меня и поняли: место занято. Ушли куда-то. Университет огромный, мест много в нем.

По кустам я уж и не смотрю. И так все ясно.

Дымы из труб начало гнуть на запад — ветер, ветер, ветер, ветер, ветер налетел.

Что ж ты наделала!

Ты любишь ходить по набережным, а набережную Лужниковскую отсюда замечательно видно.

Если она придет не одна? Если не одна!

Устали мои глаза, и сколько же женщин ходит по набережным, и сколько их бродит вокруг университета.

И скольких берут по кустам! И неужели по любви?

Но неужели без любви.

Всякую платную грязь, да и любовную студенческую дружбу я не принимаю в расчет.

Неужели...

Я мало что вижу, мало вижу. Все двоится. Слезы набегают на глаза от напряжения, и как ни крути рубчатые колесики, а все нет резкости.

Как же я ее разгляжу в бескрайней Москве?

Надо спускаться на землю. Пойду и буду ее искать, и, может быть, я ее найду. Стер глаза, теперь сотру ноги — и ладно. Найду ее и убью. Убью!

Я спустился на землю, поднял напоследок глаза к небу и явственно, четко, резко увидел сапсана на ученом утесе. У него была мощная грудь, а под глазами черные пятна, похожие на усы.

Сапсан смотрел на меня сверху и думал горько: вот человек. Этот человек, думал сапсан, стоял у окна, не исключено, что собирался полетать. Жуткое зрелище, когда человек летит. Разбивается всмятку.

Я пошел на книжный развал, нашел там Брема и вложил в том вырванную страницу. Я не хотел сперва признаваться, что я ее вырвал из книги, но — лучше признать-ся. «Споручница грешных» не позволяет мне лгать. Я признался книгопродавцу.

Совершенно случайно я встретил внизу гринписовца. Ему подарил бинокль, рассудив, что мне теперь, когда я окончательно посадил глаза, бинокль не скоро понадобится. Гринписовец опешил от приятности. Ладно, зеленый, охраняй мировую природу, не ленись ходить на демонстрации. Нам угрожает экологическая катастрофа, слышал, нет?

Протестуй!

Я пошел пешком по Москве, мимо свадеб на смотровой площадке, мимо каких-то магазинов ненавистных, ездил целый день в метро, слепнул на улицах до ночи.

Я звонил ей — и никто мне не ответил вечером. А ночью я провалился в звериный сон, спасаясь от близости дурдома.

Потом пошли таблетки, прогулки, врачи. Ну и таблетки, конечно. Я на самом деле здоров. Мы бодры, веселы! А что, что таблетки? От простуды...

Мне бы сожрать голубя! Кровь у него красная, яростная, соленая, мясо теплое. Но как мне его ударить в небо?

Эту историю я потом рассказал моей милой, моей любимой, моей единственной женщине.

Солнышку моему!

Ей, моей птичке, рассказал через два года. Не удержался, дурак, рассказал. Она была в зале на защите моей диссертации, в МГУ, посылала мне свою энергию, чтоб я защитился. Потом, перед бедняцким научным банкетом, мы вышли погулять, передохнуть, и я все рассказал.

Кроме того, что видел, что делается в кустах вокруг университета.

Она быстро потемнела лицом.

— Пойдем в кусты! — сказала она вдруг. Хрипло.

На этом заканчиваю. Для полноты сведений есть одно дополнение. Чтобы вы поняли кое-что про сапсана. Сапсан гнездится по всему миру, но очень редко встречается. Нет таких краев, где сапсан во множестве. В Москве сейчас вроде бы есть сапсан. Точно это никому не известно.

Мне, выходит, крупно повезло: я видел сапсана!

Но и он видел меня — в ту минуту, когда я в смертном ужасе отшатнулся от распахнутого окна.